Владислав Лецик
АВТОБИОГРАФИЯ

Мой отец, Григорий Филимонович Лецик, родился в 1916 году на Украине, в Сумской области, в селе Спасском, что стоит на красивой реке Сейм. Я в тех краях бывал несколько раз уже взрослым. В Спасском (при советской власти оно называлось Ленинское), да и в других окрестных селах живет немало наших однофамильцев, но ни от кого мне не удалось узнать, откуда взялась наша фамилия — явно не украинская. Сам я предполагаю, что она польского происхождения. Хотя сомневаюсь, что во мне есть хоть капля польской крови. Дело в том, что те места, где сейчас находятся Сумская и Харьковская области, назывались когда-то Слободской Украиной и входили в состав Московии. Там в семнадцатом веке селились бежавшие от польских панов украинские крестьяне. А поскольку в те времена крепостные нередко носили фамилию их хозяина, то и мои православные хохлы-предки, видимо, притащили с собой фамилию какого-то католического польского шляхтича. (Кстати, есть такой известный польский писатель, автор остроумных афоризмов Станислав Ежи Лец. Эта фамилия — Лец — звучит как слегка «обрубленный» Лецик. Я к нему в родственники не набиваюсь, но тем не менее...)

В шестнадцать лет мой отец, имея семь классов образования, уехал из своей украинской деревни на Дальний Восток, стал работать на железной дороге осмотрщиком вагонов. Отслужил армейскую службу в Приморье, а затем, в 1940 году, закончил в Томске какой-то ускоренный годичный железнодорожный техникум.

Началась война. Пошли на Запад воинские эшелоны. Отец, работавший в Сковородино, написал штук пять рапортов с просьбой отправить его на фронт — то ли из чувства патриотизма, то ли оттого, что уж очень тяжело было на железной дороге. Вкалывали как проклятые, и спрос за любую промашку был самый жесточайший. Но рапорты остались без ответа: железная дорога была на военном положении, специалистами не бросались. Тогда отец вместе с приятелем (было дурням уже по двадцать пять лет) решили бежать на фронт. Залезли в воинскую теплушку, спрятали их солдаты под нары, и они поехали. Но суток через

двое отца моего обнаружили какие-то проверяющие, вытащили из-под вагонных нар и вернули в Сковородино. Дело пахло лагерем, но отцу повезло — проверяющие были свои, и дело замяли. Что касается приятеля, то он благополучно добрался до фронта и через месяц был уже убит под Москвой.

Рапортов отец больше не писал. В 1944 году он женился.

Моя мать, Надежда Игнатьевна, появилась на свет в 1923 году в Елабуге — это город на Каме, где родился живописец Шишкин, и где повесилась поэтесса Цветаева. Фамилия девичья у матери была самая, что ни на есть русская и, более того, — вятская: Пупышева. Мой дед по матери, Игнатий Пупышев, был владельцем жестяной мастерской. Дела у него шли, видимо, неплохо, потому что перед революцией, году в шестнадцатом, ему предлагали третью купеческую гильдию, но он отказался. Возможно, почуял наступление новых времен. И благодаря тому, что дед не вошел в купеческое сословие, а также потому, что не держал наемных работников, — в мастерской у него работали только сыновья, родные и приемные, — он уцелел в годы гражданской войны. Хотя в кутузке в годы нэпа его подержали. Мать моя вспоминала, как ее юная мачеха носила куда-то серебряные ложки и еще какие-то ценности — и деда, в конце концов, отпустили. Умер Игнатий Пупышев в 1930 году от рака, в возрасте шестидесяти семи лет, оставив молодую жену с грудным младенцем на руках. Матери моей было тогда семь лет. Воспитывалась она у тетушек и бабок с чудными вятскими именами (помню одно — баба Оня). Окончила семилетку, перед войной уехала на Дальний Восток. Там вышла в конце войны за моего отца. Свадебным подарком им были два ведра картошки.

Я родился в Сковородино 22 января 1946 года. Там же в 1950 году родилась моя сестра Наталья.

В 1952 году отца перевели на станцию Завитая, где он работал сначала начальником вагонного хозяйства, а затем, по состоянию здоровья, перешел на рядовые должности. Имел знак «Почетному железнодорожнику» — награда покруче ордена, потому что давала право на бесплатный проезд (раз в год) в мягком вагоне в любой конец страны.

Мать работала в Завитой счетоводом, бухгалтером. В начале 1972 года она поехала на Карпаты, в Трускавец, лечиться от каменно-почечной болезни, там у нее случилось обострение, во Львове ей сделали рискованную операцию, и она в той львовской больнице и умерла. Отец с моей сестрой, в ту пору студенткой Благовещенского пединститута, вылетели во Львов и перевезли ее на родину отца, в село Спасское на Сейме. Там она и похоронена. Теперь это заграница. Я тогда был на охоте в селемджинской тайге, найти меня было невозможно, и узнал я о смерти матери лишь через три недели, когда вышел в поселок. Матери было сорок восемь лет.

Отец умер в Завитинске в 1990 году — в еще не распавшемся Союзе. Уж не знаю, как бы он, старый коммунист, этот распад пережил. Он после смерти матери женился второй раз — привез жену со своей родины, хохлушку. Мы звали ее тетя Дуся. Славная была женщина, удивительно добрая. В годы войны была угнана в Германию, работала там сварщицей на верфи, где делались подводные лодки. «Подводны човны варыла». У тети Дуси на Украине остались сын и внучка. С моим отцом они прожили в Завитинске 17 лет. Она ненадолго его пережила.

Теперь о своих литературных корнях. За отцом никаких способностей к писательству не водилось. Более того, изрядно подзабыв к концу жизни родной украинский, он так и не научился правильно говорить по-русски. Хотя устные рассказы о детстве и о молодости у него звучали очень живописно. В каждом хохле Гоголь сидит.

Зато его младший брат, а мой дядька, Иван, колхозный пастух, бывший фронтовик-сапер, меня — в смысле литературных наклонностей — поразил. Первокурсником я был в гостях на Украине, и вот на гулянье, по случаю яблочного Спаса, подвыпивший дядька мой вынул из кармана мятую бумажку с каракулями и стал читать на украинском вирши своего сочинения. В них были выведены его собственная жена, другие сельские бабы, а также колхозный сторож дед Балабон. Стихи строем напоминали шевченковские, они были складные и очень смешные — но крайне неприличные, и поэтому я воздержусь от

цитирования.

Моя мать, как и отец, тоже никогда ничего не писала. Но зато ни от кого я впоследствии не слыхивал такого богатого, старинного, на Дальнем Востоке неведомого русского языка. Поговорок и прибауток, слышанных от нее, нигде больше не встречал. Например: «Не отведашь реденьки, дак не поешь и свёколки». Или: «Сердилась баба на базар — а базар и не знал». А, кроме того, в детстве, в Елабуге, она росла вместе с татарчатами — и до конца дней своих прекрасно знала татарский. Думаю, внимание к языку у меня — от нее.

Детство и юность мои прошли в Завитинске. Уклад жизни был полудеревенский. Мы держали корову, свинью, кур, уток, был и огород. Чистить стайку я научился рано. И корову доить приходилось.

В школе нашей — нынче это неслыханное дело — было много учителей-мужчин, чуть ли не половина. Работала уйма всяких кружков, но самым популярным был, пожалуй, кружок «ИЗО» — то есть рисовальный, изобразительного искусства. Вел его Сергей Григорьевич Ческидов, сам отменный рисовальщик и вообще педагог от Бога. На его уроках вопросов дисциплины не возникало: мы сидели как завороженные, когда он рисовал мелом на черной доске, объясняя нам технику графики. Кроме того, он вел в школе драмкружок. Школьники сами делали декорации и костюмы и давали в железнодорожном клубе платные спектакли. Сергей Григорьевич, видимо, возлагал на меня какие-то надежды, даже приглашал домой, обучал живописи маслом, у него дома я впервые увидел репродукции французских импрессионистов в роскошном немецком альбоме. Сожалею, что я его разочаровал, не подавшись в художественный вуз.

Между тем в школе ввели одиннадцатилетнее обучение. А вечерняя школа оставалась еще десятилеткой. Я туда, в вечернюю, и перевелся, поступив заодно на работу слесарем в паровозное депо. В итоге я получил среднее образование на год раньше своих бывших одноклассников — в 1963 году. Мои друзья из «вечерки» собрались в Благовещенск, в мединститут, — и меня давай уговаривать. А мне хотелось в Москву, в университет, на

физика-ядерщика. Сейчас и вспомнить смешно — но тогда физики были в моде, а ума у меня было не больше, чем сейчас. Но денег-то и вовсе не было — какая уж Москва... И я поехал с друзьями в Благовещенск. Но не в медицинский, а в педагогический, на литературное отделение. Во-первых, учиться всего четыре года, а во-вторых, литература, как я полагал, дело нехитрое.

Стихи начал писать в восьмом классе, в пятнадцать лет, но в семнадцать как-то забросил. Вернее, почти забросил. Писал иногда шуточные. Так, в институте, на втором курсе, соорудил довольно большую штучку, жанр которой сам определил в подзаголовке: «Оптимистическая трагедия в прозе и стихах». А заголовок был не шибко ароматный: «Огонь, вода и канализационные трубы». Речь там шла о мытарствах студентов, живущих в общежитии, где постоянно отключали свет и воду, а также был заколочен туалет. Отнес свой опус в институтскую многотиражку «За педагогические кадры». К моему удивлению, ее напечатали, причем в новогоднем номере (то ли самый конец 1964-го, то ли самое начало 1965-го). «Трагедия» заняла целый газетный разворот — две страницы. Это и был мой печатный дебют.

На последних курсах я стал время от времени писать для областного радио, для «Амурского комсомольца» и «Амурской правды». Юный журналистский кадр был замечен, и в результате, получив в 1967 году диплом учителя литературы, я был направлен в поселок Экимчан Селемджинского района не в школу, а в районную газету «Горняк Севера». Район я сам выбрал — за таежную экзотику. Осенью того же года меня забрали в армию, в зенитно-ракетный дивизион ПВО, а через год, уволившись в запас, я вернулся в Экимчан. Два с половиной года ездил по всему району, писал о золотодобытчиках, шоферах, геологах, охотниках. Но литературой не занимался вовсе.

Весной 1971 года поступил штатным охотником в Селемджинский зверопромхоз. Правда, приняли меня с условием, что я в течение лета обучусь бондарному делу, поскольку промхоз заготавливал, кроме пушнины и мяса, также грибы и ягоду, а

бондарей для ремонта бочкотары не хватало. Пришлось обучиться. И вот три года — каждый год с октября по март — я жил в тайге, ловил соболей. А летом, в поселке, ремонтировал бочки, а также делал из жести печки для охотничьих избушек и палаток (наверно, мой дед, жестянщик Игнатий Пупышев, был доволен мною на том свете). Первый год я охотился с эвенком Иваном Соловьевым, светлая ему память, он с самых азов меня терпеливо учил и охоте, и обращению с оленями, на которых мы кочевали по тайге. Второй год охотился самостоятельно, жил всю зиму один как перст в рваной палатке среди глухой тайги. А на третьем году моим напарником стал русский — Юрий Титов, родом сибиряк, выросший в тайге да к тому же имевший диплом охотоведа. Он впоследствии трагически погиб — утонул в бурной Селемдже, когда они с братом Сергеем отправлялись на очередной сезон. Эти люди дали мне больше, чем может дать любой институт.

В январе 1973 года, в таежном зимовье, когда соболь не шел в ловушки по причине диких морозов, и у меня образовалось свободное время, я написал свои первые рассказы. Один, «Билеты по дешевке», — по воспоминаниям детства — о самодеятельном кукольном театре. Другой — «Грустный реванш профессора Пирата» — об Иване Соловьеве и двух его охотничьих собаках. Рассказы эти весной того же года были напечатаны в районной газете «Горняк Севера» с моими собственными рисунками. Печатал я и очерки об охоте.

В 1974 году вернулся в районную газету, но уже на должность ответственного секретаря. В течение лета 1975 года писал повесть «Дед Бянкин — частный сыщик» и одновременно печатал ее в своей районке, главу за главой. Повесть была детективной, и мои читатели меня донимали: «Ну, скажи — кто золото украл?». Я держался мужественно, не пробалтывался, а когда чувствовал, что читатели вот-вот угадают преступника, вписывал в очередную главу новый сюжетный ход и сбивал читающую публику со следа.

В конце 1975 года переехал в Благовещенск, поступил корреспондентом в «Амурскую правду», а через год был назначен

заместителем ответственного секретаря — и это был мой карьерный потолок, поскольку я не имел партбилета. Да и не хотел его иметь.

Когда «Дед Бянкин» был напечатан в литературном альманахе «Приамурье мое» за 1977 год (он вышел в продажу в 1978 году), благовещенские литераторы сочли меня писателем, каковым я сам себя, если говорить всерьез, не считал. Между тем в Москве готовилось VII Всесоюзное совещание молодых писателей. Руководитель областной организации Союза писателей СССР Борис Машук включил меня в число кандидатов от Амурской области, но заявил мне, что конкурс на это совещание жесткий, примерно триста человек на место, и что одной моей повестушки мало — там требуют большего объема написанного. И я буквально под его пинками написал еще два рассказа. Один из них — «Раз на раз не приходится» — сразу был принят к печати в Москве, причем вышел одновременно в двух центральных изданиях — в журнале «Литературная учеба», № 3 за 1979 год, и в еженедельнике «Литературная Россия», а второй, «Петух с глушителем», вошел в сборник «Поиск», изданный в том же году издательством «Молодая гвардия». Оба они были напечатаны также в альманахе «Приамурье мое» за 1979 год.

В общем, конкурс я прошел и в марте 1979-го участвовал в вышеупомянутом совещании — в семинаре белорусского прозаика Василя Быкова. Имя его в те годы гремело не только по стране, он был, как тогда называлось, «самым переводимым» — то есть из советских писателей именно его больше всего переводили и печатали на Западе. Он прошел всю войну, был артиллеристом, мать получила на него три похоронки, его имя высечено на одном из обелисков над братской могилой, поскольку он числился в погибших. Но он выжил — и стал одним из лучших военных писателей, одним из первых, кто стал говорить о войне то, что хотел сказать. С властями у него были сложные отношения, не раз организовывалась его травля. Всего-то несколько дней я видел его — но уже не забуду до смерти.

На прощальном банкете москвичи, участники семинара, стали подсовывать Быкову для автографа его книги,

предусмотрительно ими принесенные с собой. Я пришел в отчаяние: «Василь Владимирович! А у меня вашей книжки нету... — Сунул руку в карман, пошарил. — Вот, у меня только пропуск в гостиницу!» Он, не моргнув глазом, взял мой пропуск в гостиницу «Юность» — и написал на обороте: «Пропуск в литературу. Василь Быков». И я с торжеством увидел, как окаменели от зависти лица предусмотрительных москвичей! Я пошутил в том духе, что, мол, с таким пропуском я теперь везде пролезу. На это он усмехнулся: «Боюсь, дивиденды будут небольшими».

Увы, он оказался прав. Когда в 1984 году амурская организация выдвигала меня в члены Союза писателей СССР, мне амурские писатели посоветовали попросить рекомендацию еще и у Быкова. Мол, для солидности. Я написал ему в Минск, он прислал рекомендацию. Но, как я впоследствии узнал, именно быковская рекомендация подействовала на членов приемной комиссии в Москве как красная тряпка на быка — прошу прощения за неуклюжий каламбур. У него было много врагов среди литературно-партийных бонз, и мою кандидатуру зарубили.

Но это все было позже. А тогда, весной 1979-го, я вернулся со Всесоюзного совещания в Благовещенск окрыленный, уволился из «Амурской правды» и в течение лета, сидя в ветхой дощатой «чаеварке» посреди огорода, написал начерно повесть «Пара лапчатых унтов». Кормился случайными заработками. Повесть вышла в начале 1982 года в журнале «Дальний Восток», потом — в «Приамурье-83». В 1984 году в Хабаровском книжном издательстве был издан мой сборник повестей и рассказов. Тираж был 15 тысяч, но книга разошлась быстро.

Я стал готовить второй сборник, работал одновременно над несколькими вещами. Но как-то так вот — не сложилось. Не сделал я свою вторую книжку. Помимо причин личного плана, была и такая: начались «перестройка» и «гласность», стало можно писать на ранее запретные темы и стало модно изобличать и ниспровергать всё и вся. Изобличающие романы, стихи и статьи хлынули потопом, страна читала взахлеб, и я не был исключением. И в собственную писанину я, поддавшись этому

веянию, тоже пытался вкачать что-нибудь этакое, изобличающее. Я пытался бежать в общем стаде. А художник — животное одинокое, в стаде ему нельзя быть. В общем, почуяв в своей стряпне некую фальшь, я почти все написанное уничтожил. Остался от той поры только рассказ «Костюмы». За него мне не стыдно.

В 1984 году начал работать техническим редактором в редакционно-издательском отделе (РИО) областного управления по печати. В 1990 году мы, сотрудники РИО, «приватизировали» этот отдел, зарегистрировав издательскую фирму. Название оставили прежнее — РИО, — но расшифровываем его на новый лад: «Редактирование И Оформление». С 1993 года я являюсь директором издательской фирмы «РИО». Помимо прочего, издаем и художественные книги — разумеется, за счет авторов или их спонсоров. Приходится читать очень много рукописей. До собственной же прозы руки все пока не доходят. Хотя в 1995 году мои одиннадцатилетней давности документы в Москве были пересмотрены, и меня приняли в Союз писателей России. Я ныне даже являюсь заместителем ответственного секретаря Амурской писательской организации. В чинуши выбился.

В последнее время, на шестом десятке, опять стал, как в ранней юности, пописывать стихи. Не слишком часто, но случается. Может быть, и удосужусь издать небольшой сборничек. А может быть, и прозой займусь. Все может быть. А будет ли — поживем, увидим.

Владислав Григорьевич Лецик,
член Союза писателей России с 1995 года.
Членский билет № 1045.

10.05.2002г.